

Ор. 84
Д-15



Владимир Иванович Даль

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПИСАТЕЛЯ



О БАРАНАХ

(Восточная сказка)

Калиф сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем в зубах; длинный чубук, как боровок, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал, кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжных ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамор; небольшой серебристый водомет посредине; усыпительный однообразный говор быющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживал калифу, напевая ему: покойной ночи.

Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастьем народа, он пускал клубы дыма то в ус, то в бороду и хмурил брови. Ночь наступила, а калиф и не думал еще о пышнейшей своей избраннице гарема, и старый беззубый цербер, неусыпный страж красоты и молодости, дряхлый эфиоп, не переступал еще с обычным зовом заветного порога, не растворял широкого раструба безобразных уст своих для произнесения благозвучного имени одного из прелестнейших существ в мире.

Калиф тихо произнес: «Мелек!» И раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь. Калиф, молча и не покидая трубки, подал пальцем едва заметный знак, и Мелек стоял уже перед повелителем своим с

огромным плащом простой бурой ткани и с белой чалмой без всяких украшений в руках. Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.

Дома в столице калифа были все такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать все, что в доме говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.

«Судья, казы неумолим, — жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь. — Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу. О великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!»

Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. «Казы сидит один на судилище своем, — размышлял калиф, — он делает что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его; надобно поставить и сбоку, рядом с ним, наблюдателя, который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно».

Сказано — сделано; калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых мужей; поставил знаменитого умму, с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды. — И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману калифскому; и свидетель калифский, пристав правды, стоял и доносил каждодневно: все благополучно.

«Каково же идут теперь дела наши? — спросил калиф од-

нажды у пристава своего, — творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?»

— Благоденствует, великий государь, — отвечал тот, — и суд, и правда, и милость творится, нет Бога кроме Бога и Мохаммед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученные палящим зноем, обнаженные главы народа твоего; живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание древа, коего цвет есть благодарность, признательность народа, а плод — благоденствие его, устроенное, на незыблемых основаниях, на почве правды и милости.

Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате, перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватой; а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел однако же научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.

— Мелек! — произнес калиф, и Мелек стоял перед ним в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.

— Удостой подлую речь раба твоего, — сказал Мелек, — удостой, о великий калиф, не края священного уха своего, а только праха, попираемого благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидеть здесь, в покое.

— Говори, — отвечал калиф.

— О великий государь, голос один: народ, верный народ твой вопиет под беззащитным гнетом. Когда был казы один, тогда была у него и одна только, собственная своя, голова на плечах; она одна отвечала, и он ее берег. Ныне у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они разделили страх на четыре части и на каждого пришлось по четвертой доле. Мало было целого, теперь еще стало меньше. Одного волка, великий государь, кой-как насытить можно, если иногда и хватит за живое, — стаи собак не насытишь, не станет мяса на костях.

Калиф призадумался, смолчал, насупил брови, и чело его

сокрылось в непроницаемом облаке дыма. Потом янтарь упал на колени. Калиф долго в задумчивости перебирал пахучие четки свои, кивая медленно взад голову.

«Меня называют самовластным, — подумал он, — но ни власти, ни воли у меня нет. Голова каждого из негодяев этих, конечно, в моих руках; но, отрубивши человеку голову, сократишь его, а нравственные качества его не изменишь. Основать добро и благо, упрочить счастье и спокойствие каждого не в устах раболепных блюдолизов моих, а самом деле, — это труднее, чем пустить в свет человека без головы. Перевешать подданных моих гораздо легче, чем сделать их честными людьми: попытаюсь однако же; надобно ограничить еще более самоуправство, затруднить подкуп раздроблением дел, по предметам, по роду их и другим отношениям, на большее число лиц, мест и степеней; одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты».

И сделалось все по воле калифа: где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян и судят и рядят дружно. Все благополучно.

Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство: считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды — и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате его такую могучую опору, такой многочисленный оплот противу зла и неправды.

— Еще ли не будут счастливы верные рабы мои, — сказал он, — ужели они не благоденствуют теперь, когда я оградил и собственность и личность каждого фаудтами, то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зеркало правосудия от туску и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его: я вижу: зеркало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприняло их».

Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень, опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц; часто и прилежно ка-

лиф прикладывал чуткое ухо свое к утлым жилищам верно-подданных — и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.

— Растолкуй мне, Мелек, — сказал калиф в недоумении и гневном негодовании, — растолкуй мне, что это значит? Я не верю ушам своим; быть не может!

— Государь, — отвечал Мелек, — я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощущаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита — он жил много, видал много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе все.

— Позови.

Хуршит вошел. Хуршит из черни, из толпы, добывающей себе насущное пропитание кровным потом.

— Хуршит, что скажешь?

— Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.

— Скажи мне прямо, смело, но говори правду — когда было лучше: теперь или прежде?

— Государь, — сказал Хуршит после глубокого вздоха, — при отце твоём было тяжело. Я был тогда овчарником, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.

— А потом? — спросил калиф.

— А потом, сударь, стало еще тяжелее: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.

— Ну, а теперь, говори!

— А теперь, государь, — сказал Хуршит, весело улыбаясь, — слава Богу, совсем легко!

— Как так? — вскричал обрадованный калиф.

Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:

— Гуртом гоняем.